

Казнь Махамбета - 13/ продолжение

Category: Kitarcy, Romanlar

написано kitarcy | 24 января, 2025

Казнь Махамбета -13/ продолжение Истории седьмая и восьмая:

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ – ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

– Ак Жайык нас не кормит, брат! Он сейчас кормилец для казачьих артелей, длякупцов красной рыбой[П1] , для кого угодно – только не для нас. А значит, нужно уходить отсюда, как можно дальше уходить, на север. Уходить, чтобы соединиться с ханом Кенесары. Самим нам в этой войне уже не победить! И не спорь!.. – Исатай поднял руку в кольчужной рукавице, словно желая остановить готовое прозвучать возражение побратима и соратника. Металлические части чуть слышно звякнули, словно подчеркивая волюхозяина руки[П2] .

– Что ты такое говоришь, брат? – Махамбет, в общем-то, возражать не особо собирался, и даже наоборот, но уж слишком хорошо знал вождь повстанцев своего товарища – даже согласие свое сын Утемиса начинал с отрицания. – Разве спорить я собираюсь с тобой? Ты прав сейчас, как когда-то был прав и я, когда говорил, что тебе следует убить Жангирхана, тогда при осаде ханской ставки. Но ты, в отличие от меня, ошибку свою признать не готов, так что же с того? Разве стану я тебе напоминать сейчас об этом?..

– А что же ты сейчас делаешь, брат мой? Нет, не спорь, не возражай! – вновь звякнули металлические кольца боевой перчатки, будто предупреждая. – Через многое мы с тобой прошли, и многое о тебе я узнал. Ты – батыр, Махамбет, ты – герой, но ты раздираем изнутри собственными чувствами. Возможно, таков удел всех акынов, и мне, простому воину-сарбазу, привыкшему орудовать не словом, но копьем, тебя не понять, не посочувствовать. Однако юлить не стану, и сразу предупрежу – если ты надеешься, что объединившись с одним

чингизидом, я пойду на смерть другого, сразу забудь об этом. У меня самого надежд уж не осталось – ни на мир с ханом Жангиром, ни на орысов с их акынами, и даже лучшие из них, вроде Даля, нам оказались не в помощь. Но я надеюсь, что вместе с ханом Кенесары мы сумеем принудить орысов больше не вмешиваться в наши дела, и тогда разберемся между собой – сами, по своим законам. Не с тем я сражался, и предан был не тем, кого считал врагом. Хан Жангир Керей нам не истинный враг, но лишь союзник того, кто лишил нас свободы. И сам станет скоро жертвой своего сильного покровителя...

– Как она говоришь..., – пробормотал Махамбет, и Исатай прервался:

– Кто она? Фатима? – Исатай не знал о содержании беседы во время последней, да собственно и единственной встречи между Махамбетом и его страстью, женой владетельного хана Бокевской Орды хана Жангир Керей, но догадывался о многом. И здесь он угадал, догадался о сути, но вот имени женщины, разбившей сердце акына и батыра ему называть все же не стоило. Напряглось лицо Махамбета, заиграли желваки, скулы будто заострились, еще миг – и не выдержал акын, повернулся, порывисто, словно ветер степной, выбежал-вылетел из юрты предводителя восстания.

Как тогда, год назад, не помня себя, стремительно шел он через весь лагерь повстанцев-шаруа, спешно собиравшийся по приказу Исатая в кочевье на север. Более шести месяцев простоял Исатай в этом месте, у большой излучины реки Урал, казалось бы, вдали от Гурьева с его гарнизоном и казачьими разъездами, однако – недостаточно далеко. Прямых нападений на его лагерь за это время не было, слишком уж слабы были ханские войска для нападения на лучшего полководца степи, а для окончательного решения вопроса с повстанцами имперскими силами слишком много интриг завертелось вокруг степной политики, чтобы генерал-губернатор Перовский мог пойти на решительный удар по бунтовщикам.

И все же, очень тяжелое полугодье провела армия восставших. Не решаясь на прямую атаку, ханские сарбазы да казачьи отряды непрестанно нападали на немногие продовольственные подвозы,

что удавалось заполучить путем торгов да переговоров, и сумели сделать это время для сторонников Исатая Тайманова по-настоящему голодным. Пришлось и в самом деле грабить своих же степняков, оправдываясь необходимостью, однако последствия не заставили себя долго ждать, и большинство кочевий, обитавших вдоль реки, окончательно перестали поддерживать повстанцев. Да и мало их было, степняцких поселений в этих краях, окончательно захваченных казачьими станицами, державшими под своим надзором берега реки, служившей главным, если не единственным источником их благоденствия.

Степняки бежали отсюда – от казаков, не ставивших жизнь кочевника ни во грош, от повстанцев, с голоду готовых отобрать последний скот, от ханских сборщиков податей, словом от всей этой суматошной возни, в которую вылилась имперская политика в Бокеевской Орде. Теперь, вслед за степняком, бежавшим от войны на север, туда бежала от голода, созданного ею же самой, и сама война. Бежала спешно, собирая свой смертоносный скарб на вьюки, складывая оголенные ребра юрт в связки, будто кости гигантских скелетов от убитой и обглоданной мирной жизни.

Забитый за прошедшие полгода стоянки скот, на самом деле немногочисленный для такой армии, скелетов за собой не оставил: каждая кость в голодающем лагере была ценной пищей. И все же сами люди к началу лета выглядели как скелеты, исхудавшие донельзя. И все же была у всего происшедшего хоть одна полезная сторона: теперь армия повстанцев могла кочевать налегке, быстро, не обремененная отарами скота и табунами кормовых лошадей. Коней боевых по строгому приказу Исатая трогать не смели, и если даже голодали сами, то для верных тулпаров своих степняки завсегда изыскивали корм, и даже самая большая стычка с казаками за прошедшие полгода случилась именно что за конский корм, когда сотня жигитов напала на обоз с кормовым овсом, шедший из Уральска в гурьевский гарнизон. Сейчас им, драгоценным половинам степных кентавров, предстояло нести на своих спинах армию шаруа, прочь от негостеприимного Ак Жайыка, на север, туда, где близ Ахтубы Исатай Тайманов, вождь рода Берш намеревался встретиться с передовыми отрядами

хана Кенесары Касымова, чингизида из рода торе.

По мере своего стремительного прохода через лагерь Махамбет успокаивался. Он уже не был тем буйным человеком, бросавшимся на дерзкий риск ради своей страсти, какому [ПЗ] разбила сердце ханская жена чуть менее года. Голодная зима, а того паче: изменившееся отношение к нему самому, да и к повстанцам, со стороны собственных соплеменников, изменили изрядно и его самого. Он словно повзрослел, понял, прочувствовал всю неоднозначность, и даже все чаще смущающую его, двусмысленность их борьбы с ханом. Решения, казавшиеся такими правильными еще год назад, нынче заставляли усомниться в собственной разумности, и только воля Исатая, его решимость, и безупречное благородство. даже в самые тяжелые времена, заставляли держаться, служили тем знаменем, вокруг которого сгрудились остатки чести и достоинства воинов-повстанцев, словно волки [П4], окруженные стаями псов, лающих сомнениями и грызущих упреками.

Изменились и песни Махамбета. Они все еще были полны огня, но в них все чаще сквозила какая-то обреченность, и потому в последнее время Исатай все реже просил побратима брать в руки домбру, но все чаще отправлял с различными поручениями... в основном туда, где угроза быть пойманным имперскими силами была достаточно высока. Словно чувствовал, подозревал – Махамбета не тронут, не заберут, а если и поймают, то отпустят в скорости. Так и происходило. Два раза за это время задерживали Махамбета: один раз в Астрахани, и единожды [П5] в Оренбурге, и оба раза, не сочтя доказательств вины его достаточными, отпускали восвояси.

Правда, и поручений Исатая выполнить, чего уж греха таить, не удавалось – Перовский в присутствии принимать отказывался, и даже письма в канцелярии не заносятся в реестр, знакомые же из высоких чинов, вроде Даля, способные помочь, словно по волшебству какому в единое время все вдруг исчезли из степных краев, по каким-то важным государственным поручениям направленные в столицу. Явно демонстрируя нежелание

вмешиваться во внутреннюю распрю в Бокеевской Орде, государство Российское не так явно, но вполне ощутимо показывало, что в распре этой оно никак не на стороне бунтовщиков, посмевших встать супротив правителя своего. В присутственных местах и канцеляриях Махамбет чувствовал себя, словно муха, угодившая в густой кисель, в которой вроде бы и безопасно, и во всем сладком, однако ни двинуться, ни дать бой этому липкому, жирному врагу, обволакивающему тебя со всех сторон такой мягкой, но неборимой силой.

А сейчас, в преддверии предстоящего кочевья на север, он чувствовал себя еще более бессильным и бесполезным. Союз с Кенесары был отвергнут по его совету полгода назад, и сейчас Исатай шел на него, хотя теперь он был более чем выгоден для личных, тайных чаяний поэта. Фатиму он теперь не то, чтобы не любил – страсть, испытываемая к жене хана, превратилась поначалу в ненависть, всежигающую, требующую немедленного покорения этой дерзкой, сильной, необычной женщины, и даже унижения ее. Однако прошедшая зима изменила даже это. Теперь он не знал, чего именно хочет, но все чаще понимал, что не было бы для него большего блаженства, нежели завоевать ее одобрение, увидеть это одобрение в глазах ее, услышать из уст. Союз с Кенесары – это то, что не учтено ни орысами, покровительствующему [П6] хану, ни ее хитроумным отцом, ни ею самой. Они считают восстание обреченным на гибель, а вождей презрительно именуют бунтовщиками, недалекими, не способными увидеть будущего [П7] для своего народа. Что-ж, это будущее есть у чингизида Касымова. А значит, он еще способен удивить ее. И убить Жангирхана. Даже если для этого придется совершить много битв, в одной, самой последней битве, он до хана все же доберется...

+ + +

*В мире лучшие луга –
Ак-Жаика берега.
Будем мы ещё, как знать,
жить там летом, зимовать.*

*Будем холить и седлать
темно-рыжих мы коней.
Бог же даст нам лучших дней,
все дела свои поправив,
вражьи силы, наконец,
безбоязненно и браво
мы погоним, как овец.*

Махамбет Утемисулы – «Берега Ак Жаика»

+ + +

«Сим заверяю преданность свою и почтение...», – Перовский протер глаза кулаком, выпачканным в чернилах, размазав оные по скулам, зевнул, отложил перо, потянулся за графином с настойкой полынной водки. Водка была на редкость гадкою, однако граф Перовский, герой крымской кампании и большой любитель вин, ныне сам себя наказывал таким вот манером, отказывая себе в нежных букетах души виноградной лозы [П8] , и прикладываясь к солдатскому горлодеру, изготавливаемому для оренбургского гарнизона кайсаком-выкрестом в трактирном подвале. Зарок такой был у графа – покамест не покончу с бунтом – ни капли вина в рот не возьму!

Про зарок этот знал только Кричевский, оказавшийся невольным свидетелем графской истерики в прошлом году, когда Василий Алексеевич получил письмо от некогда друга и покровителя, графа Нессельроде с презрительнейшим выказыванием всяческого недовольства политикой, проводимой оренбургским головой относительно Бокеевской Орды. Пожаловаться государю Перовский не мог – хотя и формально, и по духу системы рангов государственной службы дела кайсаков, как подданных российского государя, и не находились в ведении министра иностранных дел, однако во время визитации хана Жангира в Петербург Карл Васильевич Нессельроде неведомым каким-то образом умудрился затесаться в окружение Эссена, представлявшего хана ко двору, и даже сумел через свое ведомство провести некие малозначительные торговые соглашения,

тем самым заполучив некое официальное отношение к делам Бокеевской Орды.

К тому же планы генерал-губернатора Оренбурга относительно Хивы, так или иначе, должны были получить поддержку в канцелярии иностранного министра, а потому ссориться с Карлом Васильевичем резону никакого не было. Пришлось обиду стерпеть, и даже написать убедительное письмо с уверениями в преданности былой дружбе и памяти о добрых делах. Последнее-то поди забудь, когда Карл Васильевич никогда не погнушается напомнить о самой незначительной услуге, совершенной им для кого бы то ни было! Уж таков он был, величайший интриган при дворе самодержца Николая Первого, министр, способный перехитрить кого угодно, но чаще – самого себя, и тем не менее, ухитрявшийся завсегда без ущерба для себя из любой okazji выбраться.

Вот и сейчас, граф писал Нессельроде, выдерживая самый высокий эпистолярный штиль, а в глубине души своей костерил Карла Васильевича на чем свет стоит, даром ли солдатский паек под Измайлово совместно с солдатами глодал, и крепким словцом умел Перовский приложить не хуже иного гренадера. Ругать-то ругал, но понимал – не время нынче ссориться с министрами да губернаторами столичными, ох не время! Поклоны раздавать, да улыбаться, скрипя зубами и скрывая волчий оскал!..

Кричевский молча стоял поодаль, у самого входа в кабинет генерал-губернатора, и боялся слово молвить. Во-первых, бывший тюремщик – любитель живописи устал, как черт после шабаша: деспотическая манера заставлять подчиненных находиться в присутствии, пока сам генерал-губернатор службу не покинул, сегодня держала служащих в канцелярии аж за полночь. Причем мелких писарей граф велел отпускать, а вот чиновникам средней руки никаких послаблений не изволил, и Семен Герасимович, страдавший в последнее время желудком, вконец сходил сума от режущей боли в животе, вызванной отсутствием в оном желудке причитающегося ужина. Надежда на то, что генерал-губернатор закончит свои эпистолярные и отпустит служивых домой,

испарилась с появлением мелкого кайсака, принесшего бумагу, запечатанную тамгой Карауылкожи Бабажанова. Такие послания содержали, как правило, доносы, да всяческие иные сведения от лазутчиков, шнырявших по Орде, и докладывавших обо всем генерал-губернатору через ханского зятя, и получав такие письма, становился обычно граф Василий Алексеевич чрезвычайно нервным, и мог засидеться аж до первых петухов. Что, кстати, ни в малейшей мере не отменяло обязанности прийти в присутствие в положенный утренний час, да при всем параде, безо всякого следа ночного бдения.

Глотнув полынной водки, граф поморщился, и только тутразглядел согбенную от усталости, стоящую в полутьме у самой двери. [П9]

– Семен Герасимович, друг болезный, почто это вы там встали так, будто скрываетесь во тьме, аки тать ночной, а? – эдакая игривость в голосе начальства пугала еще больше, нежели привычная раздражительность, и бочком, бочком, неловко и даже как-то стеснительно, Кричевский приблизился к столу и положил на самый краешек желтую в тусклом свете оплывших свечей бумагу, тамгою вверх. Василий Алексеевич недоверчиво глянул на сложенную бумагу, оказавшуюся так некстати на его столе, поднял глаза на Кричевского:

– Когда принесли?

– Да вот..., – от чего-то испугался еще больше Семен Герасимович, сглотнул ком страха, так некстати возникший в горле, продолжил: – надьсь... мене часа назад, ваше превосх...

Однако граф уже не слушал, нетерпеливо ломая печать тамги, и с громким шуршанием разворачивая желтый лист послания. Пробежал глазами. Будто не поверил, прочитал снова, теперь уже медленнее, в отдельных местах проговаривая слова и даже целые предложения беззвучно, одними губами, будто [П10] жвачку какую жевал. Не отрывая взгляда от бумаги, потянулся к графину с полынной, налил полную рюмку, выпил, не поморщившись. Снова наполнил рюмку, поднес к губам, но отчего то передумал, со стуком поставил на стол, да так, что горько пахнувшая жидкость расплескалась через края, запачкав бумагу с письмом для

Нессельроде. Василий Алексеевич как-то странно посмотрел на собственное послание, будто не узнавая его. Затем вдруг резко схватил, и принялся рвать на множество мелких кусочков, приговаривая:

– А вот тебе вот так, мил государь, и вот так, и еще – вот так... Ибо! – последнее граф Перовский, генерал-губернатор Оренбурга, чуть ли не вскричал, воздев указательный перст к потолку, обрывки же собственного письма бросив вверх так, что они тебе, медленно кружась, желтыми хлопьями необъяснимого жаркой июньской ночью снега, падали вокруг и на голову его превосходительства. – Ибо дело государственной важности! Ибо – бунт супротив власти растет и ширится, и не время нынче в политикусы играть, а время исполниться воинскому долгу – во славу Государя и Отечества!

– Да что же такое-то, Василий Алексеич? Нешто ханьцы на нас войной напали? – забеспокоился, запищал Кричевский, чья резь желудочная от графской истерики еще более усугубилась.

– Нет, ханьцы не при чем! – взмахнул рукой, одним этим движением словно отрубая, отгоняя бесчисленные орды коварных ханьцев от границ государства Российского, генерал-губернатор Перовский. – Бунтовщик Исатай идет на сближение с ханом Кенесары Касимовым! Два бунтаря готовы объединиться, и тем самым поставить под угрозу саму власть государя-императора над вверенными нам территориями, Семен Герасимович! А значит – прочь политикусы, и никаких отныне извинительных отчетов и реляций! Только – война, только – победа! Гром победы, раздавайся, веселися, славный росс!..

Генерал-губернатор запел фальшивым, но глубоким и сильным басом, а у Семена Герасимовича Кричевского, действительного советника и любителя живописи, все сильнее и невыносимей болело в животе.

+ + +

– За веру... и верность! Вот девиз сего ордена, милостивый

государь, и никаких иных наград и наук нам не надобно, коли сочла тебя Империя достойным ордена сего, а вера и верность есмь главные познания твои на государевой службе! – Петр Кириллович нежно, даже как-то ласково погладил своего «Андрея» – нагрудный знак высшей награды государства Российского хоть и был лишь из золота с эмалью, однако носил его граф Эссен так, словно находился при полном статуте алмазных знаков ордена святого апостола Андрея Первозванного. Собеседник его, министр иностранных дел Российской Империи, граф Карл Васильевич Нессельроде, монолог генерал-губернатора Санкт-Петербурга слушал с выражением таким, словно у него болел живот.

Вот уже четыре года и два месяца прошло с того дня, как бывшего генерал-губернатора Оренбурга, героя войны с Наполеоном, графа Эссена наградили «Андреем». Наградить-то наградили, да вот какой пассаж! – алмазных знаков, по статуту причитающихся, к орденскому званию по причине недостатка алмазов в государстве, истощенном бесконечными войнами, да и не выдали. Иной бы и тем был счастлив, да не тот человек Петр Кириллович Эссен, никогда не довольствуется малым там, где может взять все, а коли не может, так вести себя будет так, словно и не нужно оно ему ни в малой мере. И золотой с эмалью нагрудный знак выпячивал безо всякой надобности, к месту и без оно, и камзол статутный носил все эти четыре года непрестанно, чем вызывал множество насмешек... тайных, конечно же!

Смеяться над могущественным петербургским генерал-губернатором рискнул бы только блаженный умом да скорбный рассудком, поскольку зело злопамятен был граф Эссен. Шуток же не терпел и вовсе никаких. Карл Васильевич же, напротив, шутить любил и умел, тяжелых же по духу своему людей опасался и стремился сторониться. А потому дружба Нессельроде с этим мощным стариком, глыбой имперской политики и левиафаном столичной интриги была не от сердца, но от предпочтительной нужды иметь этого человека скорей в союзниках, нежели во врагах. Шестидесяти шести летний Эссен с каждым годом становился все

более раздражителен, и в то же время, как ни странно – сентиментален. Вот и сейчас, вызвав к себе в приемный кабинет министра иностранных дел, с коим позволял себе обращаться порой как с мальчишкой, несмотря на то, что Карл Васильевич был младше него всего на восемь лет, Петр Кириллович вдруг резко сменил тему беседы, а вернее – монолога, потому как говорить изволил только сам:

– В степи нынче хорошо! Маки, небось, только отцвели, а у нас, вишь, май петербургский, и весной-то назвать стыдно! Кости ломит... о чем то бишь я? Верность... да!

Столичный генерал-губернатор отошел от окна, медленно опустился в кресло, обитое темным бархатом, помолчал, пожевав сухими, старческими губами, продолжил, глядя сквозь министра, словно сквозь прожитые годы:

– Верность – она порой с позывом души не сочетается. Есть некие долги... чести, что ль? А можно и эдак сказать, почитай, что и чести, отчего же не сказать? Долги уж нее людям живым, но токмо памяти ушедших в мир иной, мир лучший... и люди эти гораздо лучше нас с вами были... Уж не знаю, помните ли вы Андреевского? Степан Семенович Андреевский, в годы оны генерал-губернатором Астрахани служил, замечательнейший человек был, не чета нынешним, да и нам с вами не чета – ученый, врач, первым язву сибирскую определил, в классификацию недугов внес, исследовал... Так вот весь успех нашего политикуса к делам степных, киргизских – его заслуга! Я-то человек прямой, порой, говорят, жесткий, как ремень солдатский, да и то понять можно, из инфантерий вышел, не штафирка штабная, не в обиду иным будет сказано...

Нессельроде закашлялся. Еще ни разу не упускал возможности граф Эссен уколоть его за то, что службу армейскую по причине слабого здоровья Карл Васильевич провел по штабам, пороха не нюхал, в атаку не ходил, а значит и человеком считаться может с большой натяжкой на полковничьи эполеты, неведомо как по штабам заслуженным. Обидно было, конечно, однако ему ли,

иностранцу, сделавшему такую головокружительную карьеру в стране, почитай, никогда из военных кампаний не вылезавшей, жаловаться на то, что в России солдатская выправка превыше ума почитается?! Приходилось терпеть. И сейчас вытерпел. Петр Кириллович же, обыкновенную для себя шпильку пустимши, как ни в чем ни бывало продолжил, будто и не он обидел собеседника своего. И сквозь продолжал глядеть – будто и не было того здесь вовсе.

– Многому научил меня, солдафона, Степан Семенович. Не силою грубой, но умом дела решать в степных краях научил. Наследник первого хана орды бокеевской, нынешний хан, Жангир, Степану Семеновичу воспитанником приходится. Аманатом, считай, заложником брали детей из знатных киргизских семейств, и на свой лад кроили, воспитывали, и уж как преуспел в этом Андреевский, что нынче нам и солдат на смерть отправлять не надобно, сами ханы в узде для нас степь держат, не дают из-под власти имперской вырваться. С этой мыслию я и ранее не позволял человечку твоему, Перовскому, в дела орды влезать, дабы народ к хану, нами на правление благословенному, уважение и доверие не утерял. Почитай, все не токмо в память другу и наставнику своему, но и за-ради блага империи нашей не давал развернуться, вмешивался, останавливал. Было дело! А нынче вот, настала пора спускать с цепи борзого, что рвется кровушки волчьей. Спускать, да еще и подзуживать, кричать, ату его, ату!

Нессельроде, наконец, был заинтригован:

– Что такое, Петр Кириллович? Что изменилось?

– Всё! Всё изменилось, Карл Васильевич, и нынче не политику старого друга беречь следует, но верность интересам имперским превыше всего ставить потребно. Бунтари, что под началом Исатая Тайманова, весь прошедший год, почитай, безнаказанны были, идут к хану киргизов среднего жуза Кенесары Касимову, человеку зело опасному, умному, и власть государства Российского над собой не признающему. А это уже совсем другой

расклад, сударь мой! Дозволить хану Кенесары усилить свои ряды пусть небольшой, но опытной, проверенной и закаленной в боях армией кайсаков младшего жуза, да еще под предводительством Исатая Тайманова, никак нельзя!

– Так что же теперь делать прикажете, Петр Кириллович? Не поздно ли спохватились? Успеем ли вмешаться? Я понимаю, что случись этот союз, государь будет в гневе, и вина за допущенную ошибку ляжет на вас..., – Нессельроде откровенно наслаждался ситуацией. Впервые далась ему в руки не только возможность отомстить за все нанесенные мелкие обиды и оскорбления ответными обидами, но редчайший шанс нанести удар по нерушимой, казалось бы, карьере этого политического левиафана.

– Ты, брат, не шибко радуйся! Захочешь – помоги, а нет, так и без тебя справлюсь! – вдруг осерчал Петр Кириллович Эссен, и крепко хватанул кулаком по ореховой столешнице, так, что чернильница горного хрусталя подпрыгнула, слетела со стола, да и разбилась о дубовые половицы, обрызгав сапоги Карла Васильевича. Нессельроде поморщился:

– Да отчего же не помочь?

– А тогда, мил человек, не злорадствуй, я твою штабную душонку насквозь вижу, ты у меня вот где, Карл Васильевич, со своими доходными домами, не забывай об этом! – и петербургский голова потряс поросшим редким рыжим волосом кулаком перед носом министра иностранных дел Российской Империи. – Вот где ты у меня со своими деньгами и домами, алчная ты душонка! Так что веди себя хорошо и впредь, как ране вел, чтобы о делах твоих государю доложено не было! Понял ли ты меня, любезный мой друг Карл Васильевич? – последние слова Эссен сказал уже совершенно спокойно, и будто даже помолодел от пережитого нервного пассажа.

Нессельроде только и смог, что кивнуть в ответ, потрясенный живостью и близостью угрозы от этого страшного человека,

который еще мгновением ранее казался сломлен последствиями своих действий, а нынче, подобно фениксу из пепла, восстал из собственных руин и пылает гневом и силою.

– А раз понял, так делай, как велю. Напишешь Перовскому послание, от своего ли имени, иль чьего еще, да только чтобы обо мне там ни слова, ни литеры не было! Отправишь то послание самым быстрым гонцом своим в Оренбург, и упаси Господь тебя, Карл Васильевич, медлить с этим! А в послании том отпиши своему протеже, чтобы выступал немедля, и разбил бунтовщика Тайманова безо всякой жалости. Однако с оговоркою, чтобы некоего Махамбета Утемисова, что при главаре бунтовщиков обретается, ни в коем случае не убивать! Без полководческих талантов, следует признать, изрядных, Исатая Тайманова, бунт этот обречен, однако же гибель своего поэта от рук чужеродных, люд степной хану никогда не простит, и тем самым засеем мы семена для восстаний грядущих, а допускать сие не следует, ибо... Ибо – вера и верность!..

+ + +

– Вера и верность, господин Бабажанов, вот на чем держится империя Российская, и в этом залог нашего успеха! – безымянный чин из самого Петербурга, сопровождавший конную сотню от самого Оренбурга до Уральска, где и встретились ханский родич и карательный отряд, выделенный Перовским для полного и окончательного разгрома восставших шаруа, всю дорогу говорил цитатами из «Патриотического вестника».

Странный был этот господин, по виду – вовсе не военный, однако же, видимо, большой властью обладал над всем и прочими, военными чинами в этом, не менее странном, отряде. Карауылкожа, хорошо знакомый с гарнизонным составом что Оренбурга, что Астрахани, а то и Гурьева, ни одного из этих служивых никогда ранее не видывал. Суровые и молчаливые, ни одного младше тридцати лет, у многих лица в боевых шрамах, они не выглядели рядовыми солдатами, хотя никто не носил положенных по ранжиру знаков офицерского отличия. Да и форму

солдатскую, положенную гарнизонам, не носил – вся сотня была одета в казацкие платья, явно взятые с чужого плеча, однако по дисциплине и порядку становилось понятным, что никакие это не казаки.

Поначалу, обнаружив, что для решающей битвы с Исатаем генерал-губернатор направил всего лишь одну конную сотню, Карауылкожа возмутился. Топал ногами в приемной Уральского головы, брызгал истерической слюной, призывал проклятия и грозился написать самому государю. Однако вышел к нему навстречу из кабинета градоначальника этот странный чиновник, коего все именовали с трепетом «Ваше превосходительство» – худой и высокий, что сушильная жердь, бровастый, нос клювом птичьим над капризно очерченным ртом нависает, а рот этот все улыбается, криво так, будто с презрением. Так улыбаются только убийцы... или те, кому привычно решать судьбы человеческие в силу власти и полной безнаказанности. Чиновник этот представляться не стал, велел именовать себя по титулу – Статским Советником, и в отличие от бойцов отряда, к коему был приставлен, по собственным заверениям, в качестве наблюдателя, разговорчив был не в меру. Только говорил странно – все сплошь чужие изречения да выдержки из государевых указов. Одним таким указом и припечатал в первую же встречу все возмущение ханского родича, прервав истерику последнего громко заявленным:

– Не числом, но умением русский солдат города берет! Знаете, чье это? Думаете, Суворов? Ан нет – сама императрица сказать изволили, а Суворов уже перед солдатами повторил, вот ему и приписывают. Так кто мы такие, чтобы с мудростью монаршьей спорить, а... как вас там? Бабажанов?! Чудесно, Бабажанов, а теперь отвечайте – кто мы с вами такие, чтобы в мудрости монархов империи Российской сомневаться? Верно, никто, и звать нас никак! Только данные нам государями титулы есть истинные наши имена! Вот, впредь по титулу и зовите! ...

С тех пор Статский Советник не умолкал. Хотя смысла в словах его Карауылкожа уловить не мог, как ни старался, все сплошь торжественные реляции, словно на параде. Одно только не

укрылось от взгляда ханского порученца – несмотря на щеголеватый вид и будто нарочитое пустозвонство, пистолеты в потертых, вовсе не щегольских седельных кобурах, и армейский палаш в закутанных в потертую кожу ножнах вовсе не выглядели щегольскими. Рукоять сабли была простой, серебряный набалдашник казался уж почернел от времени, но чудилась в этом темном серебре одна лишь смерть, скучная, привычная и обыденная для людей войны, пользующихся таким оружием. И у всех прочих в сотне оружие было очень похоже – сабли без эфесов, защищающих кисть руки, ножны спрятаны, клинки ножен не покидают даже на вершок, и пистолеты – оружие дорогое, обычному солдату не доступное, все так же тщательно укрыты от возможных любопытствующих глаз. Но при этом имеются у всех!

На первом же ночном привале не сдержался Карауылкожа, от любопытства своего сгорающий, дождался, когда странные солдаты примутся за обязательный для военных людей ежедневный ритуал чистки и осмотра оружия. С флягой неплохого вина подошел к одному из бивачных костров предложить солдатикам выпить, да поглядеть, что же у них за оружие такое? Пить солдатики отказались напрочь, а вот оружие подсмотреть Карауылкожа таки успел. Успел – и обомлел от увиденного: клинки боевых сабель были усыпаны червленой арабской надписью выдержек из Корана, серебряные накладки на рукоятях пистолетов так же украшены строками из Священной Книги мусульман, да клеймами мастеров с мусульманскими именами! И вздрогнул тут ханский родственник – неслышно подошел к нему Статский Советник, да как хлопнет по плечу, и рассмеялись бородатые, обычно суровые солдаты, при виде испуга кайсацкого:

– Что, брат кипчак, удивлен? Небось, не слыхивал никогда о черкесской сотне?

Проглотил испуг свой Карауылкожа, сглотнул ком в горле, сипло спросил:

– Кто... откуда эти?..

– С гор они все, с Кавказа, по большей части из кавказского племени чеченов, что у себя на родине знатными барымтачами были, разбоем промышляли, а теперь, вишь, присягу государю Российскому приняли. Среди своих то они предателями считаются, изгоями, а у нас, вишь, муштру прошли, солдатской науке обучены, присланы верность свою короне в хивинской кампании графа Перовского доказать. Ну, а эта вылазка – так, для разминочки, чтоб первую кровь пустить, давно уж не воевали, почитай, с самой присяги...

– Они – мусульмане? – удивленный Карауылкожа кивнул на арабские надписи на оружии. Статский Советник пожал плечами:

– Есть среди них и выкресты, навродь абазов, есть урожденных пара христиан из армян, а по большей части веру отцов сохранили. Смешно, да? Веру отцов сохранили, а вот веру самим отцам – не особо, потому как на таких вот кавказцах и будет строить империя власть свою: преданных вере своей, но не народам своим. Скоро, очень скоро весь Кавказ под нами окажется!..

– А вы, ваше превосходительство? Тоже – с Кавказа? – набрался смелости спросить Карауылкожа. Рассмеялся статский советник:

– Прадед мой из чеченов был, еще в годы оны на Русь перебрался, да веру сменил за ради любви к прабабке моей, столбовой дворянке из рода Сурковых. А я... русский я, понял? Действительный Статский Советник его императорского величества государя Российской Империи, граф Сурков! Но для тебя, брат кипчак – токмо по титулу, так что гляди, не ошибись!

– Не ошибусь, Ваше Превосходительство! – Карауылкожа низко поклонился русскому чеченцу, повернулся, да и пошел быстрым шагом прочь от костра. Впервые с тех самых пор, как он самого себя помнил, почуял бывший аманат-заложник, поднявшийся до нынешних высот, страх перед будущим. Еще в ранней юности, отданный собственными родителями в качестве залога преданности русскому императору на воспитание генерал-губернатору

Астрахани, сын бая, до того считавший свою семью могущественной, а себя – особым, ибо – наследник! – испытал глубочайшее разочарование в собственной крови. В собственном народе. Жизнь среди русских убедила его в том, что сила и хитрость являются главными залогом успеха что для людей, что для народов, и со свойственной юности гибкостью принял мысль о том, что будущее степняка зависит от «старшего брата», который, пусть и ведет себя, как хозяин, но сможет обеспечить покровительством. А может быть, даже, и поделиться со временем своею силою. Единомышленник хана Жангира по многим вопросам, касавшимся необходимых изменений в вековом укладе жизни кочевников, он увидел в них свою выгоду, но к тому же искренне считал эти изменения необходимыми для будущего своего народа, казавшегося ему слабым, отсталым, а порой и непроходимо глупым.

Если и боялся он чего-то, так умело скрывал, наученный жизнью, свыкшийся в детстве с тем, что сама жизнь его была разменной монетой в большой политике империи и орды. При всем презрении его к степному укладу, к самому народу своему, тем не менее этот самый народ он любил, хотя никогда не признался бы в этом при прочих. Так любит ребенок отца-пропойцу, байстрюк – мать гулящую, а преданный собственным народом в руки завоевателя ребенок-заложник – своих предателей. К завоевателям же начинает испытывать благоговение и страх пред их силою. Однако ныне страх пересилил это благоговение, и превратился в ужас. Он узнал в этом Суркове себя. Порой и сам ведь называл себя русским, будто отрекаясь от собственной крови и рода, желая стать частью той силы и мощи, что представляла собой Империя. Империя, требующая веры в свою непогрешимость, и верности своим интересам. И сейчас увидел ханский родич и новый степной феодал Бабажанов, к чему может привести его собственный народ такие вера, и [П11] [AU12] [AU13] верность.

+ + +

Подполковник Геке устал. С полусотней таких же усталых солдат – остатками экспедиционного корпуса, направленного Перовским в

самую глубь Великой Степи, почти до самого Аральского моря, он выдвинулся обратно на запад, как только получил приказ со срочным гонцом, еще две недели назад, и за этот кратчайший срок сумел совершить чуть ли невозможное, добравшись до северных границ Бокеевской Орды. Здесь, согласно предписанию графа, встал лагерем, до дальнейших указаний.

Указания последовали прошлой ночью – в лагерь прибыл важный чин из новой столичной аристократии, статский советник Сурков, в сопровождении двух абреков грозного вида. Несмотря на лощеный вид, статский советник оказался крепким малым, и не пожелав даже малость отдохнуть, приказал собрать срочный совет в палатке подполковника. Абреков своих на совет привел, хотя и не по уставу это – не должно денщикам знать о планах и стратегиях военных. Видать, не простые это абреки, и доверяет им этот большой начальник, да и сам он явно непрост, и абрекам своим, жестокостью славным, ровня, коли первым же предложением своим поверг офицеров имперского экспедиционного корпуса в полнейшее смятение:

– Малую артиллерию направите на обоз...

Зашептали, загомонили русские офицеры, засверкали глаза на усталых лицах людей, последние, почитай, полгода, выжившие благодаря кайсацкому гостеприимству. В степях приаральских не приходилось им ни грабить кочевой люд, ни иных непотребств творить – пастухи киргизские кормили и выхаживали израненных после стычки с одним из отрядов Кенесары Касимова русских солдат, и даже платы не требовали. Многие из солдат и офицеров впервые в жизни увидели быт и жизнь кочевого народа, играли с их детишками, пили шубат и кумыс, приготовленный их женщинами, а тут на тебе – на обоз пушки направить велют! Так ведь кто в обозе-то у киргизов завсегда? Понятное дело – дети да бабы, так можно ли?

Однако статский советник миндальничать не стал, строго так выговорил:

– Степняка в степи на большую баталию заманить сложно, почитай – невозможно! Именно по этой причине военный гений графа Перовского и создал этот великолепный план. С юга в нашу сторону направляется гурьевский гарнизон, объединенный с казачьим корпусом атамана Яблочкина, они, можно сказать, гонят перед собой армию Исатая Тайманова. Когда подойдут сюда, с северо-запада ударим мы, с востока – ваш отряд. Однако даже при таком раскладе есть угроза, что большая часть армии бунтовщиков сбежит, утечет, как вода сквозь пальцы, не ввязываясь в большое сражение, и сохранив основные силы. А значит, мы обязаны сделать все, чтобы предотвратить их уход, навязать им сражение, и покончить с бунтом раз, и навсегда. Для этого есть только один путь. Кайсаки чадолюбивы, ради семей своих рассудок легко потеряют, дисциплину нарушат, да и встанут на защиту своего обоза. Но сделают это только в том случае, если поймут серьезность наших намерений. А серьезность эту без крови никак не показать! Ясно ли вам, господа офицеры? Готовы ли вы исполнить свой долг перед царем и отечеством?!

Замолк ропот в палатке, потупились офицеры русские, в чьих сердцах сейчас боролись между собой честь, и долг, озвученные таким вот образом, и по всему разумению выходившие этой самой чести супротив. И тогда заговорил подполковник Геке:

– Мы, ваше превосходительство, долг свой знаем. Ни к чему эдак вот нам, не первый год в степи интересы империи кровью своей охраняющим, такие словеса. А коль надобно будет, так и сами словеса нужные найти горазды, среди наших и бывшие царскосельского лица птенцы имеются, не абы кто, самого Пушкина знакомцы, так ли, Тынянов?

При упоминании балагура и полкового поэта Тынянова офицеры заулыбались, сам «однокашник Пушкина» смущенно потупился, тоже, однако, улыбнувшись. Геке же продолжал:

– Однако согласно уставу русского офицера, не может, и не должен русский солдат в детей и женщин из артиллерии стрелять, а значит – не будет! Ужо всяко этот – не будет! – уже жестко сказал подполковник, обведя широким жестом офицеров у себя за

спиной, и глядя прямо в глаза статскому советнику. Тот взгляд выдержал, выдержал и паузу, затем спокойно ответил:

– Ну, то, что вы тут гордитесь службою в одних рядах с участниками декабристского бунта супротив государя нашего, карьере вашей совсем не поможет, это я вам обещаю. А всю малую артиллерию, что имеется в наличии вашего экспедиционного корпуса, полномочиями, данными мне генерал-губернатором оренбургским, графом Перовским, реквизирую. Будьте любезны сейчас же передать все пушечки в мое ведение... сколько их там у вас? Две? Вот и замечательно! И артиллеристов к ним в придачу, да по полной батарее! И чтоб кунштюков мне потом во время сражения не выкидывали, иначе солдат ваших забью батогами, а на вас, подполковник, рапорт незамедлительный подам вплоть до трибунала, и никакие ваши предыдущие заслуги вас не спасут, ясно? Вижу, что ясно. Да, прямо сейчас. И выходим в ночь, некогда время терять, будите батареи. Гостеприимством вашим, подполковник, пользоваться не стану, иначе обяжет это меня, так что воздержусь. Надеюсь, что свой долг во время битвы выполните с той же честью, с какой нынче отказали государеву чиновнику. Ибо помните, что русским офицером вас делает вера – и верность! Как вижу, веру в поставленных вами руководить чинов государством российским вы потеряли, так буду надеяться, что хоть верность в вас – осталась.

+ + +

Кочевье растянулось аж на четыре версты, и это беспокоило Махамбета. А еще больше его беспокоило то, что Исатай, казалось, был происходящим вполне доволен.

– Агай, надо подождать, чтобы возы с юртами подтянулись, – направив коня вперед, в самую голову каравана, где ехал Исатай с десятком самых верных бойцов из числа родичей, крикнул он своему Старшему еще издали, и с раздражением отметил, как вождь повстанцев нахмурился. В последнее время большинство советов от Махамбета глава бершей воспринимал не то, чтобы явно в штыки, но с явным недовольством, а уж следовал им и вовсе редко. «Ничего! – подумал Махамбет. – Я достучусь еще до

твоего сердца, Старший!»

Подскакав, наконец, поближе, заговорил убежденно:

– Агай, нельзя так растягиваться, если что случится, нападут сзади – как защитим?

– А кто на нас сзади напасть может, Махамбет? Кого мы позади себя оставили? Гарнизон гурьевский? Ты что, в самом деле думаешь, что они сейчас следуют за нами? Успокойся, и оставь военное дело нам. Твое время поспеет, когда будем переговоры вести, людей убеждать, а сейчас займись чем-нибудь... да, чем хочешь! – Исатай отчитал своего соратника при всех, безо всякой жалости, и обида ножом полоснула по сердцу акына – устал он терпеть такую несправедливость от названного старшего брата. Развернул коня, хлестнул камшой по крупу что есть сил, галопом помчался прочь, назад, туда, где так медленно, на его взгляд, плелись обозы с юртами, женщинами и детьми.

Исатай посмотрел ему вслед, покачал головой:

– Вот столько времени с нами в степи войну ведет, а так и не освоил воинское дело степняка! Слишком много книжек своих читает, про науку военную, как она у русских да прочих народов устроена. А как мы воюем, так и не понял до сих пор!

Жигиты-ветераны, прошедшие с Исатаем не одну битву, согласно закивали. И правда ведь – не в кучности сила степного войска, а как раз в растянутости, в том, что не может никакой враг степняка в его родной степи окружить, загнать в ловушку, вынудить к битве на своих условиях, если сам степняк того не пожелает. Даже если враги нападут на кочевье с тылу, конные жигиты всегда развернутся, опишут копытами коней обратный полумесяц на степной ковыли, ударят в тыл нападающему, и тот, кто мнил себя охотником, сам добычей станет. Но разве головой думает акын, которому важнее сердце? А сердце в войне слушаться следует только два раза – когда войну начать решаешь, и когда заканчиваешь. Первый раз – с яростью к врагу, второй – с милосердием к побежденному. Веками проверена Яса великого Шынгысхана, и нет лучшего способа ведения войны в степи, чем тот, которым воевал Великий Кочевник. Слишком много книг читает Махамбет, слишком много чужих мыслей набрал в голову, так и свои растерять недолго! Да еще с разбитым

сердцем...

Исатай знал о тайне Махамбета: тайна для всех, она была открыта Старшему брату самим акыном, в надежде на сочувствие, понимание, но суровый воин, почитавший честь превыше всяких чувств, бывший полководец хана Бокеевской Орды, а ныне – изменник и повстанец, сын Таймана никак не мог понять, и уж тем паче одобрить чувств своего младшего побратима. Отчитал он тогда Махамбета, и к советам его стал относиться с меньшим вниманием, потому как разуверился в разумности верного соратника, и теперь в любых его предложениях искал изъян. Искал – и потому находил, и все более разочаровывался в своем побратиме, все чаще считал, что поступками и советами его руководит не польза делу восстания, но ненависть к хану Жангиру, как к мужчине-сопернику, которому достались и тело, и сердце женщины, отвергнувшей любовь буйного в своей страсти поэта.

Буйный же Махамбет, доскакавши до «хвоста» кочевья, еще больше взъярился, узрев меланхоличные, жующие вечную свою колючую жвачку морды верблюдов, навьюченных остовами юрт и прочим скарбом. Он на чем свет стоил ругал медлительных возчиков, требуя хлестать низкорослых «кормовых» лошадок, запряженных в возки и телеги. Дети с удивлением смотрели на коренастого, лысого дядьку с глазами на выкате, выкрикивающего слова, за которые тетушки и апашки не преминули бы и по губам дать, старики же, назначенные управлять «гражданской» частью каравана, не посмели пререкаться с тем, кого вся степь знала, как побратима Исатая и его самого верного соратника. Хлестко щелкнули семихвостые бичи по потным конским крупам, зычно крикнули погонщики верблюдов, ускоряя степенный ход горбатых «кораблей пустыни», и арьергард кочевья повстанцев значительно ускорился, подтягиваясь за ушедшей вперед армией.

+ + +

*Свирепеет дело хана,
слабо реет наше знамя,
ускользнули все успехи...*

Но, накинувши доспехи,
бросив клич свой родовой
и, ввязавшись в ближний бой,
мы, с молитвами к Аллаху,
чтоб в бою не дать нам маху,
всем докажем: нет, не зря,
нами выбрана стезя.
Без отчаянья, друзья!

Махамбет Утемисулы – «Без отчаянья!» Romanlar